Дмитрий ИСАКЖАНОВ

РАССКАЗЫ

ОРЕХИ

Осенью, когда из опавших листьев зажигают погребальные костры и земля, окутываясь дымом, замедляет свое вращение, мы с сестрой начинали печь грецкие орехи. После обеда, ближе к вечеру, когда мама, бабушка и тетя Нина закрывались наверху в большой комнате, и, взявшись за руки, склонялись над старинным альбомом с фотографиями, на самом дне которых плещутся, цвета сирени и йода, воды минувшего, и замирали, не решаясь спускаться в их тесные колодцы, дом затихал. Меркли его светлые комнаты, замирал холодильник. Умолкало, прохрипев что-то, радио. Половицы выпрямлялись вслед растаявшим шагам, постанывая и обретая обратную кривизну, выгибались сказочными мостами над безднами, над сонной молочной рекой, текущей невидимо и спокойно где-то там, в глубине их, в кисельных подрагивающих берегах, в лиловеющем мареве, упирающемся в самую ночь, и даже сверкающая пыль прекращала свое движение, увязнув в янтарном сердце солнечного луча.

Маринка и я, выглянув в коридор и убедившись в том, что путь свободен, быстро натягивали, прямо поверх домашнего, уличные штаны и кофты и на цыпочках спускались на кухню. Орехи бабушка хранила в бездонном комодке, внизу, и нужно было залезть почти целиком в его темную пахучую глубину, чтобы нащупать там, в матерчатом мешке (вроде тех, в которых хранят картошку), их морщинистые твердые спины. Торопясь, я все время пытался захватить их в горсть как можно больше, но, крупные и ребристые, они выскакивали и с глухим стуком падали обратно, из бездны — в бездну, из тьмы — во тьму. Маринка, теряя терпение, громко шипела, что я слишком долго вожусь, и я, раскрасневшийся, потный, торопливо отвечал ей, что пусть в следующий раз она попробует сама, но и в следующий раз все повторялось — это было частью ритуала, началом нашей игры.

Из кисти, раскоряченной добычей, торопливо отводимой за спину, Маринка выбирала по одному все и складывала тут же, на пол. Я чувствовал торопливые прикосновения ее горячих пальцев, неловких и царапающих. (Бездумно вглядываясь перед собой, я видел их — маленькие, красные — в жаркой пульсирующей тьме.) Наконец, натаскав достаточное количество и рассовав добычу по карманам, мы так же, на носочках, пробирались в прихожую, натягивали там свои курточки и ботинки и выскальзывали за дверь...

Свобода! Ветер, ликуя, ерошит наши волосы и зовет за собой.

Свобода! Дым с каждым вдохом наполняет наши легкие и впитывается в щедрые тела — идет стремительная реакция замещения, атомы наших клеток, такие привычные и надоевшие, уносятся прочь, и на их место встают новые: неизвестные науке, неведомые и нам, но делающие наши тела легкими и прозрачными, ноги — неутомимыми,

Дмитрий Константинович Исакжанов родился в городе Омске, в 1970 году. Образование высшее юридическое. Публиковался (стихи) в журналах «Арион», «Новая Юность», «Крещатик», «Меценат и мир», «Сибирские огни». Живет в Подольске.

а кожу — чуть сереблящейся в закатном свете, словно мы — два маленьких юрких самолета, уверенно летящие к известной одним лишь нам цели, отважно пробирающиеся сквозь страшные опасности, прозревающие путь в матовой путанице ветвей, слышавшие зов.

Мы переглядываемся, и, шепотом издав ликующий победный вопль «Ого-гооо!», сбегает со ступенек, и мчимся вперед. Прохладные потоки воздуха разжигают наши лица, и вот уже щеки пылают, леденеют носы, и руки, маленькие и цепкие, как веточки, деревенеют на ветру. Две светящиеся рубиновые точки носятся над новой опавшей листвой, два шелкопряда раскачиваются над миром на своих невидимых нитях — и в гаснущем воздухе тускло светятся спутанные нити их траекторий, связывая воедино и сад, и землю, и пространство между ними, пропитанное воздухом ранней осени, и нас, увязших, счастливых, выбившихся из сил.

Наконец, остановившись и отдышавшись, мы начинали поиск. Мы шли и шли вперед, в самую гущу сада, еще ближе к тайнам, осторожно ступая, замирая и изредка обмениваясь условными знаками, чтобы выбрать кучу тлеющих листьев побольше, поближе к какому-нибудь дереву, подальше от дома.

Кто зажигал их, кто раздувал эти тлеющие с краев листья? Кто превращал одинокие мерцающие искры в пылающие созвездия, вдыхая в них свою жизнь? Я до сих пор не знаю. Мы никогда не видели тех, кто переходил от холма к холму, поджигая их. Не слышали дребезжащих голосов, не различали утомленного шарканья ног, ленивого бряканья спичек в утреннем тумане. Не видели пугливых теней, не замечали тающих силуэтов на закате дня. Вполне возможно, что огонь в слоистых глубинах зарождался сам, но не в результате термогенеза, а вследствие распада шелковистой винноцветной материи, что простиралась каждую осень от самых ступеней нашего дома вдаль, насколько хватало глаз, зарождался с высвобождением тепла и света, накопленных за три долгих летних месяца, — не знаю... Это начиналось внезапно. Нас не охватывало предчувствие вакханалии, и ничего в наших душах не вопило: «Скоро!!!» или «Вот, сегодня!», или «Завтра! Завтра, непременно!» Просто в один прекрасный день, в той его части, что едва заметным образом (вроде волокон воздуха, поднимающихся над остывающей землей и, дрожа, впивающихся в низкое холодное небо) соединяется с начальным светом сумерек, наши сердца вдруг начинали биться особенно громко и часто, как после игры в догонялки, а головы, не сговариваясь, поворачивались конопатыми носами в ту сторону, откуда доносился пряный, как запах старых книг, и печальный, как звук фляжолета, аромат.

«Осень!» — восклицали мы тогда. «Вот, пришла!» — кричали мы что есть сил. «Началась настоящая осень!» — радостно возвещали мы друг другу, стараясь произносить эти слова так, чтобы дрожащий голос не выдавал волнения, едкого, как пот, и соленого, как слезы. Мы знали, что не может быть настоящей осени и не может быть даруемого ею восторженного прозрения самых дальних уголков нашей жизни, которая была садом и которою был сад, без вдыхания этого пьянящего фимиама. Стоя в горьковато-сладкой мгле, кутаясь в нее и утопая с головой, уходя на самое дно райка, так, что даже лбы наши касались выстилающей его пурпурной ткани, мы пророчествовали, дуррачились и ликовали, потому что знали, что вот наступило наконец, То Самое Время!

Мы высыпали в горячую золу свою добычу и усаживались поближе, так, что чувствовали еще разгоряченными лицами новый, не внутренний жар собственной крови, но внешний жар тлеющих листьев, легкий и горький. Мы ерзали, выискивая себе место поудобнее, мы кашляли и вытирали слезы, когда ветер бросал дым прямо на

нас, мы отворачивались, ища себе опоры понадежнее, чем вечеряющий воздух, мы сгибали и разгибали ноги, перебирали руками, не замечая, как сползаем, спинами вперед, по направлению к ближайшему дереву, и останавливались, лишь почувствовав, что дальше двигаться уже некуда. Наступало время историй. Мы рассказывали друг другу все, что могли вспомнить из происшедшего за день: с соседями, со знакомыми (друг про друга мы и так знали все), с приятелями, с друзьями, с друзьями друзей и с друзьями друзей друзей... Дойдя до границ круга, мы начинали вспоминать о том, что происходило с ними вчера, затем — позавчера, и позавчера, и месяц, и год назад, и до того, как они появились здесь, и то того, как мы их узнали... Мы ворошили длинными палками с черными обуглившимися концами в пламенеющей пыли, тыкали ими в самое сердце костра, колотили его и любовались тем, как в назревающую ночь взмывают его крохотные алые звезды. Приближалась очередь размышлений над причинами пересказанных событий, пора домыслов, догадок, предположений... Реальность, окружающая нас, неуловимо истончалась, таяла, убывала в результате непрерывного гомеопатического деления на выдумку и фантазии, и черные тени деревьев, запрокинувшись, все росли и ширились, простираясь все дальше и дальше, переплетаясь на стихающей земле все прихотливее, туже, крошечнее и становясь все фантастичнее. Они множились, вовлекая в себя все новых и новых персонажей, о которых мы только что говорили понизив голоса, почти шепотом: и птиц, что кормят птенцов собственной кровью, и зверей, вырастающих из корня и погибающих от голода, когда заканчивается вся трава вокруг них, и морских рыб, что ходят по земле, обратившись в странников в обмен на собственную жизнь в виде жемчужины, и многих еще, которым не было ни имени, ни образа, ни времени, чтобы все это придумать. Мы захлебывались словами, мы перебивали друг друга, дополняя никогда не виданными подробностями, вскрикивали, умолкали и начинали снова, замирая от ужаса, на миг представив себе то, что бродило, невидимое, вокруг, и касалось ледяным дыханием наших голых и тощих шей. Потом наступала очередь рассказов про отрезанную руку, про черную комнату и про злоешие говорящие колокола из неизвестного металла...

И вот уже наши тела потихоньку заливала тьма близящейся ночи, исподволь она брала себе от них по кусочку, отщипывала по чуть-чуть, подкравшись со спины, облизывала нас широкими холодными языками, так, что мы не сразу замечали, как нас становится все меньше и меньше, как, разгоряченные, мы таем, и лишь те наши части, что были обращены к слабому свечению жаровни, еще можно было угадывать, уже не видя вполне. Широкие и плавные волны остывающего воздуха доносили до нас из хлева острые запахи животных, расслабленным слухом мы улавливали стихающее бляенье коз, возню и всхрапыванье коровы. День уходил, и, спохватившись, мы провожали его минутной заминкой, паузой, неловким вздохом. Наступала та самая минута, ради чего все затевалось, миг трансмутации: попевали орехи.

Пора! Нетерпеливые, словно маленькие старцы, мы приступали со своим желанием к костровищу (в гамме этой рембрандтовской «Сусанны» из «Огонька», висевшей у нас на вернаде, я вижу двойным зрением, вспоминающего и вспоминаемого, тех нас), мы подавались вперед и вглядывались, пытая: действительно ли пора? Инстинкт охотников просыпался в нас. Тлеющими прутиками («сигары» называли мы их, притворяясь, что курим) мы тыкали в горячую пыль внешнего круга, шарили ими, подбираясь все ближе и ближе к жаркой середине, раскапывали в золе почерневшие и будто уменьшившиеся и разгладившиеся от своих морщин шарики, и, обжигаясь и шипя, хватали их, разламывали их грязными пальцами, и грязными ртами приникали прямо к пахнущим мускусом и дымом обломкам. Разговор наш смолкал, и наступившая тишина перемежалась лишь невнятными выкриками: «Ого!» «Зырь!» «Ваще!» «Мой!».

Разжеывая горячие кисловатые крошки, мы изо всех сил таращились в подергивающийся серой пепельной пленкой холм и все ворошили его, ворошили, разрывали, переносили с места на место, словно сказочный город, срывали его до основания и возводили наново рядом в поисках новой добычи — еще и еще, еще и еще! Кто первый увидит?! Кто отыщет самый большой?! А самый дальний, закатившийся под край, едва затронутый горением? Уже все? Нет?! «Глянь, целых три!»

Словно черти, перепачканные сажей, мы тянемся за добычей наперегонки, в самое пекло, не замечая, как наступаем прямо в костер, как несмотрительно затаптываем в золу другие, незамеченные орехи, как давим их, давим, топчем, хороним в размягчившейся земле, не слыша слабого треска лопающейся скорлупы. Успеть! Схватить! Быть первым! Искаженные слабыми отблесками света и резкими мазками теней наши лица не узнать — губы потрескались, зрачки стали огромными и, кажется, сияют каким-то собственным черным светом. Курточки и шапки сбились, перекрутились, едва не вывернулись наизнанку — о, как мешают они! Прочь шапки! Наши волосы, мокрые от пота, стоят дыбом, словно маленькие рожки. Палки чиркают по земле, взметают вверх остатки несгоревших листьев, слепо тычутся в подозрительные ямки и бугорки, придирчиво исследуют почву, валяются и, не успев долететь до земли, ловятся окоченевшими пальцами. Рты не перестают жевать, глаза — смотреть, руки — шарить. В гонке преследования мы не заметили, как все стихло на земле, и только наши голоса звучат резко и гортанно, словно крики ночных птиц.

Но выпав в очередной раз, палки наконец исчезают во тьме. Одна, другая... Они больше не нужны нам, мы их не ищем. Над нашими головами накипают разочарованный ропот ветвей, и ветер, налетев с размаху на дерево, посвистывает, постанывает, путаясь в кривых клетках, продираясь и ища выход. Азарт наш угасает вместе с огнем, и последние горки пламенеющей пыли не удерживают взглядов. Наше дыхание от проглоченных орехов становится горячим, а внутренняя сторона щек бугристой — язык в нее тычется, как слепой в кирпичную стену. Хочется пить, жажда скрипит золой на распухших губах. Скоро мы уже не можем думать ни о чем другом, кроме воды, но по инерции еще продолжаем скрести по дну тускло светящейся чаши глазами, через силу запикиваем остывающие комки в свои пересохшие рты, в сузившиеся глотки, и наконец, обессилив, мы озираемся. Оглядываем друг друга...

Последние, перед окончательным мраком, косматые тени стекаются к нам со всех сторон, поглощая, окутывая своими козьими, остро пахнущими шкурами, окончательно похищая наши истинные черты, превращая в сатиров. Навек, навек!

Заставляя окончательно перейти на шепот, а затем и вовсе умолкнуть, все резче, все пронзительнее воет ветер, вырвавшийся наконец из плена и набросившийся на нас. Он впивается нам в спины, путает и дергает волосы. Воет, раздувая на наших лопатках лихорадочный жар, разрывая нашу одежду, раздирая ее на клочки, раздевая нас, оставляя в первозданной тьме совершенно нагих, нагих и одиноких! Страх, ужас, паника охватывают наши цепенеющие души, опутывают своими цепкими корнями, притягивают к жесткой сухой траве, вжимают, вплетая в густой звериный подшерсток, ошетилившийся на невидимого, но близкого врага, лишают сил, хватают за сердце.

И вот уже, не сговариваясь, мы вскакиваем и, отталкивая друг друга, со всех ног, не разбирая дороги, несемся сквозь мрак и ужас к дому, обозначенному вдаль едва светящимся контуром двери, несемся, громко, оглушительно громко стуча подошвами по вымощенной обломками кирпича дорожке, чтобы отпугнуть *его*, чтобы не дать ему приблизиться к себе, чтобы *она* знало, чтобы весь мир знал: мы — есть! В этом хаосе, в этой ночи, мы — живые!

Быстрее! Быстрее! Быстрее! Пока оно не схватило нас, пока мы сами не стали, совсем как оно! О, как болит в боку! Быстрее, пока мы не застыли в беге, с разинутыми рта-

ми и прижатыми к груди руками, от его ледящего прикосновения! Боже, как хочется пить! Быстрее, еще быстрее, я чувствую его дыхание! Громче бейте, подошвы, стучите и стуком своим предупреждайте всех, кто может оказаться на пути! Предупреждайте их и отгоняйте, умоляем вас! Но, словно во сне, каждый видит себя с вытаращенными от ужаса глазами, замершим на одной ноге, с другой, поднятой позади себя, — как гипсовая балерина в нашем школьном дворе. Внезапно крыльцо оказывается уже прямо перед нами. Чудо! Чудо нас спасло! О, спасибо тебе, кто ты там есть! (Кто — некогда думать.)

После короткой ожесточенной борьбы в тесном дверном проеме мы влетали в ярко освещенную безмолвную прихожую и устремлялись к ведру с водой, стоящему на табурете. Густое, сонное тепло окружало нас, беря под свою защиту, но схватка наша, уже здесь, продолжалась: за кружку, за то, кто раньше схватит ее, кто первым напьется. Я помню, как, едва ворочая руками, отдирав ее ненавистные пальцы, вцепившиеся в обшарпанную ручку, тонкие ледяные пальцы с обкусанными черными ногтями и бахромой вокруг, как колотила она меня свободной рукой («Пусти, я первая, пусти!», «Уйди, дура, я первый!», «Нет я, нет я, нет я!!!»), пока кружка не падала на пол и, гремя, не укатывалась по широкой параболе за табурет...

Только тогда с нас вдруг спадали чары, и, очнувшись, мы согласно кидались на четвереньки и доставали ее, всю в пыли, в крошках, обдували, очищали рукавами, и уже не спеша, словно никогда и не дрались, словно вообще никогда ничего и не было, черпали и пили, пили, пили, передавая друг другу, проливая большую часть на пол, капая на пол, на себя, заливая одежду до животов и ниже — колени, ботинки, и не могли напиться, изредка все еще ревниво посматривая сквозь полуприкрытые от удовольствия глаза: чтобы никто из нас не стоял к ведру ближе, чем другой. Страх и жажда оставляли нас, тела наши согревались, успевшая задубеть кожа размягчалась, скрюченные пальцы распрямлялись и вновь обретали подвижность, а уши начинали различать привычные звуки, которыми жил дом: тиканье электросчетчика, писк остывающего чайника на плитке, какие-то непонятные, но привычные пощелкивания в глубине деревянных стен... «Кто там? Это вы?» — спустя некоторое время сверху раздавался рассеянный голос матери. И мы молчали, не зная, что сказать.

ТАЙНОЕ КИНО

Долгое время, вспоминающееся мне как зрелые сумерки лета, мы с сестрой искали тот самый кинотеатр, в котором день напролет крутят иностранное кино и фантастические фильмы сменяют невероятные комедии, а еще — приключения, мультики и даже, даже... Мишка сам видел! И рассказал об этом нам.

Где находится кинотеатр, он, по его словам, точно вспомнить не мог, кажется, где-то в центре, в Саду Офицеров, в Павильоне, или на Набережной... Мы с сестрой облазили там все. (Я помню, как дожидался ее после уроков — наша смена тогда заканчивалась раньше, несмотря на то, что она была на пять лет моложе меня.) Мы изучили эту часть города так, что могли бы начертить ее в любом масштабе и с любого места, вдвоем, не отрывая рук от листа и не открывая глаз, наглядно тем самым подтверждая достоверность наших сомнамбулических блужданий и серьезность намерений. И может быть, именно здесь, в месте, не поименованном на карте действительности ничем, кроме эфемерных, едва произносимых на выдохе прилагательных, удостоверяющих его существование лишь наличием ряда сообщающихся певучих продолжительных глоссолалий, появился и стал расти зародыш той иррациональности, будучи охваченными которой потом мы с легкостью допускали в своей жизни самые невероятные

возможности и предположения, потворствуя им как легкой невинной лжи, помогающей выкарабкаться из дней, катящихся ввечеру под уклон засыпанных снегом траншей, как ничтожному смещению осей настроенного на нечто еще не до конца понятное механизма существования, позволяющему заглянуть в пространства, интригующие своими потенциями, как прощительному недосмотру, оставляющему в целостности и сохранности после сокрушительной генеральной уборки все самое сокровенное и трепетное, изъятое из подноготной нашей одной на двоих жизни.

В течение примерно двух месяцев, с перерывами, обусловленными различными неотложными делами, но в первую очередь соображениями конспирации, едва успев перекусить в соседней со школой булочной, мы садились на шестьдесят третий автобус и доезжали до центра, от которого, раз за разом продвигаясь то посолонь, то противосолонь, то строго радиально, то интуитивно-хаотически, словно Амундсен и Нансен, исследовали понурые, изуродованные временем и неумелым хозяйствованием постройки былых времен, возвышающиеся над ржавыми прутьями, над неоконченной опалубкой, над бурой кирпичной осыпью чего-то безвременного, безликого и бесконечно унылого, называемого «культмасс». Доверяя не столько путаным описаниям случайного свидетеля, сколько собственному наитию и томительному беспокойству, что, подобно ветру, имеет направление, а значит, и возможность быть обозначенным на карте странствий вектором движения, мы прокрадывались на чердаки, спускались в подвалы и блуждали в стенах невысоких сырых лабиринтов улиц, попадая через едва приметные дверки в первых этажах на одной стороне на третий, а то и четвертый этаж, выходящий на соседней, изумленно отшатываясь от осыпающихся балюстрад на высоте птичьего полета, озираясь среди ржавого железа крыш, спутанных проводов в потрескавшейся изоляции, скопищ мутных бутылок, нанесенных ветром газет и голубиных перьев. Мы читали вылинявшие, облезлые вывески, разбирая их едва просматривавшиеся графемы, складывая отдельные фрагменты в буквы, буквы — в слова, а слова — в свидетельства прошедших времен. Настоящее время обходило центр города стороной, словно это был центр циклона, дремотный омут спокойствия, необходимый для поддержания в природе равновесия энергий, второе чудо раздвижения вод с обнажением дна, неряшливого и непригодного для пешеходных прогулок. Мы расспрашивали людей на улицах, останавливая тех, что казались нам наиболее вызывающими доверие, мы сопоставляли собственные прозрения с приметам строений, которые могли бы подходить под описание кинотеатра, но все было тщетно: вождя нигде не было. Мы бросались через дорогу, чтобы разглядеть афишу за пыльным стеклом здания напротив, мы едва не попадали под колеса грузовика, стараясь углядеть шпиль и арку, которыми, как мнилось нам, украшено искомое здание, и бесстрашно входили в самые мрачные, осыпающиеся кирпичом и штукатуркой, протяжные, словно вздох отчаяния, дворы. Мы проходили их насквозь и, убедившись в очередной ошибке, продолжали идти дальше, уже просто потому, что были не в силах остановиться, двигались, ведомые тем самым беспокойством, чей пунктир безошибочно считывался нами как среди безлюдных, залитых солнцем кварталов, так и в аллеях сумрачного, заброшенного парка — так следуют силовым линиям наитий бабочки и птицы, втянутые инстинктом в авантюры над мятушимися полями Атлантики. Мы шли, шли и шли, пока ноги не начинали гудеть от усталости, а в висках не начинали стучать маленькие молоточки, которые, по незнанию, мы принимали то за медные звонки трамваев, то за ложную надежду последнего предупреждения, доносящегося из близкого уже кинозала. Предвкушая мерцание вождя света, то ускоряясь, то замедляя ход, мы продвигались в путанице узких переулков, словно разматывая вороха поухлой киноленты, не замечая, как, высвеченные заходящим солнцем, картины минувшей жизни

ложились на нас галереей призрачных отпечатков, как покрывали с ног до головы несмываемым загаром драгоценной контрабанды.

Я не уверен, что нам удалось хоть раз набрести на следы этого кинотеатра, хотя его продавленные дощатые полы, засаленный бархат портьер и темноту, пахнущую кислым духом мебельного лака и пролитой в буфете газировки, я помню отчетливо и ясно. (Именно запахи лака и газировки имеют в этом мнемоническом пейзаже наибольшую доминанту, возвышаясь среди прочих составляющих так, чтобы при неловком движении путника не сбиться ему с пути, не запутаться, не закрутиться внутри липковатых стен бесконечной бесплодной спиралью, все более обезчеловечивающейся, слыша, как отраженный, отовсюду доносится голос главного героя, произносящий фразу сначала отчетливо, а потом все более и более рассыпаясь в бессмысленной звуковой крошке.) Скорее всего, во время наших странствий нам удалось другое, более важное: мы смогли отстать на небольшую терцину от всеобщего тока времени и попасть в его тихий затон, в край, называемый иногда «элизиумом» и ассоциирующийся с забытием, отстранением и покоем (полупрозрачным, ломким, как папиросная бумага, покрывающая цветные иллюстрации в альбомах Эйхема и пахнущим одинокой старостью), иногда — «безвременьем», а иногда и еще чем-то... Чем-то таким, чье звучание более всего близко к негромкому звону серовато-дымчатых дней.

Каждый раз после возвращения из наших экспедиций мы не делились впечатлениями, не обсуждали результатов, не перебирали найденных сокровищ. Мы не обменивались друг с другом ничем — ни единым словом, ни звуком. Но спустя несколько времени, перед сном, когда родители гасили в нашей комнате свет и оставляли одних, лежащих в своих кроватях, один из нас вдруг начинал тихим голосом — так, словно речь шла о чем-то прекрасно известном нам обоим: «А помнишь, как он выхватил свой наган и выстрелил, не оборачиваясь, прямо в главаря банды?» И вопрос, подхваченный прямым утверждением, превращался в начало длинного-длинного фильма, шедшего где-то в стороне от Сада Офицеров, в кинозале рядом с бывшим страховым обществом «Саламандра».

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО СУЩЕСТВОВАНИЯ

Вот уже три недели, как я вернулся из командировки и сижу дома. За это время мне так и не удалось встретиться и поговорить с нею — я четко ощущаю свою нематериальность. Уже несколько раз в комнатах и один раз на улице она проходила сквозь меня, не замечая, а я даже не мог ее окликнуть, поскольку воздух в моем горле был как стоячая вода в старом колодце — темен и недвижим.

Кроме нее, у меня никого нет. С тех пор как она стала мне ровесницей, мы проводили все время лишь вдвоем, а потом было уже поздно что-либо менять, поскольку ход мировой истории миновал нас и пролегал уже где-то в стороне — там, где кончался наш сад, и даже дальше, за полем и за железной дорогой. Сетовать ли мне на это? Думаю, что не стоит — не в этом дело. Сейчас мне кажется, что основная проблема нашей семьи заключалась в том, что все мы пребывали в различных фазовых состояниях времени: сестра, пробыв какое-то время со мной, двинулась дальше и надолго исчезла из моего поля зрения, отец существовал в своей особенной, обусловленной сном среде, мать же, как человек наиболее мирской, была ближе всего к размеренной жизни обывателей, а значит, и отстояла дальше от всех нас — если считать достоверным существование между нами некоего центра, связывающего всех воедино.

Мое собственное пребывание в мире всегда было настолько нестабильным, что я постоянно то появлялся в нем, то исчезал, словно солнечный блик на стене в облач-

ную погоду, ставя под сомнение саму концепцию связанности материального объекта с омывающими его потоками хроноса. Да и обязательность размерности этого объекта, кстати говоря, тоже. И теперь я чаще всего кажусь себе лишь точкой, произвольно выбранной досужим наблюдателем в сообществе миллионов подобных точек, кружащих и вспыхивающих то в солнечном луче, то на фоне зимнего неба, точкой, все условия существования которой описываются единственно словами «аз есмь». Где вот только она существует, эта точка, в какой области бытия? Во времени? В пространстве? И если во времени или пространстве, то в каком именно — во внутреннем? Внешнем? Сомнительно...

В обманчивости внешних свойств чего бы то ни было я убедился еще в раннем детстве, когда заметил, как порой, размеченное вещами и событиями, полотно действительности внезапно, без видимых причин бледнеет, становится прозрачным, словно намокшая ткань, и каким-то неожиданным, неуловимым жестом, каким-то ускользающим от понимания движением вдруг сворачивается и уходит вовнутрь вещи, являя взгляду нечто, вызывающее оторопь, — так, словно «это» расцвело изнутри, проступило татуированными письменами, приблизилось с той стороны выколотых тьмой окон. Это непредсказуемое взаимопроникновение с тех еще пор сводило меня с ума и заставляло все время быть настороже: с одной стороны, я боялся пропустить этот по-своему прекрасный момент, а с другой — всерьез опасался лишиться таким образом кого-то из своих близких, — они ведь тоже могли в ком-нибудь или чем-нибудь исчезнуть.

Я помню как приехавшая к нам в то же лето погостить тетя Нина, с ловкостью тошнотворной и завораживающей, подобно гаитянскому хиллеру, вынимала из себя, буквально из себя самой, из глубины необъятной рыхлой плоти, обернутой цветастым пахучим халатом, отрезки времени различной длины и давности: минуту, день, год, час, мгновение — любой, на выбор! — вчерашнего пошива, годовичного и даже десяти-двадцати и сорокалетнего, в состоянии изумительном, коллекционном, извлекала из нее вещи — в натуральную величину (часы, проданные зачем-то кому-то на базаре, разбитые вазы (непонятно, они были в тот момент все еще целыми, или разбитыми? Кажется, подобно шредингеровскому коту, они все же существовали одновременно в двух состояниях), роскошное пальто «Москвичка», бумажные цветы) и даже людей, живых и невредимых, а со всем этим — и какую-то особенную, чарующую, но неуловимую атмосферу, тотчас окружавшую все наше сообщество, собиравшееся на веранде за чаем, невыразимо нежную и сладкую, словно газ, едва сочащийся из неплотно прилегающего к баллону редуктора. О, паспарту из папье-маше, крашенного марганцовой, о, анилиновые губы и глаза ее племянницы, о, астры с гибкими лепестками! Желтые, красные, голубые! Военные астры тети Нины...

Или же она сгущала все это из окружавшего ее времени? Вернее, даже не сгущала, а выбирала — витающее вокруг, существующее от века, но непроявленное, выбирала, отделяя, подобно Творцу, свет от тьмы и сушу от воды? Мне трудно было тогда в этом разобраться, трудно разобраться и сейчас...

Выбирала и давала смотреть нам.

«Бедняжка», — говорила о ней наша бабушка. «Ей столько довелось пережить в детстве... Наша Нинья... Слава богу, таки слава богу, что все обошлось!»

Я знал, что «Нинья» — это был один из кораблей Колумба, попавший в шторм и едва не разбившийся о скалы. Ему столько довелось пережить... И уже в постели, засыпая, я представлял себе маленькую девочку, носящуюся в пене волн, обессилевшую, уже простившуюся с жизнью, но наконец счастливо прибываемую к берегу, целой и невредимой и тут же спасаемой отрядом полунагих смуглых индейцев. Образ этой

девочки — «тети Ниньи» — ночь за ночью, постепенно сливался с образом Маринки, с которой днем мы в этих самых индейцев и играли, и пробирались с конкистой сквозь джунгли, и носились по бушующим волнам в отчаянном поиске Новой Земли, и, таким образом, скоро я уже вовсе уверился, что моя сестра и маленькая тетя Нина — это один и тот же человек, одновременно существующий в двух различных ипостасях. Я вспоминал фотографии, которые тетя хранила в недрах своего необъятного красного чемодана, прямо так, в почтовых конвертах, словно собралась было их кому-то отослать, да в последний момент передумала или, наоборот, вдруг получила их от неведомого адресата накануне, только-только убрала, да решила показать нам. Вынимала, из пахнущего сладкой пудрой и пьянящей камфарой вертепа, секунду-другую вглядывалась, словно сличая позитив с хранящимся где-то поблизости невидимым оригиналом, и передавала по одному в наши протянутые руки: там были изображены пухлощекая куколка в кружевном передничке поверх серого платья, в черных ботиках до щиколот («Это — я», — утверждала с тайной гордостью тетя Нина), какой-то мужчина в длинном пальто и борсалино («Это — мой папа!»), группа военных («Тоже папа...»), и мы почтительно задерживали взгляд, принимая на душу эти тяжелые толстые картонки, молочного-серые там, где было изображение, и карамельные, ровные для глаз, с испода, и сквозь сонную одурь я все силился понять, какая же из этих двух девочек — настоящая?

«История в моей крови!» — восклицала тетя Нина, рассказывая о своем отце-герое. «Я дышу историей, а история — дышит мной!» — громогласно убеждала она обращенных к ней. И еще она говорила: «Пока я дышу — я живу!» и «Пока я живу — я надеюсь!» И если второе утверждение было, на мой взгляд, избыточным — любому ведь ясно, что надеяться могут только живые, то первое многое объясняло. В частности, оно все же слегка приоткрывало мне глаза на природу тети Ниньи: она была подобна соборному органу. Поскольку в отличие от меня, у которого, по выражению бабушки, «ветер в голове» (а ветер — значит «сквозняк»), у нее в теле отсутствовали сквозные отверстия, позволявшие свободно гулять сквознякам, то ее кровь, насыщенная кислородом и историей, совершив большой артериальный и малый венозный круг, возвращалась в легкие за новой порцией воздуха, а прожитые и отработанные мгновения жизни, ставшие за время странствия по капиллярам временем, скапливались во всем ее объеме, подобно нагнетаемому в мехи воздуху. И когда по вечерам за семейным столом тетя была расположена к «высокому», она, открывая и закрывая невидимые клапаны, играла на своем теле восхитительные фуги и сонаты, одновременно доказывая удивительную природу прошедшего времени — его неисчерпаемость. Одни и те же гаммы повторялись из раза в раз, не растрачиваясь, не улечувываясь из своих вместилищ, но вновь и вновь свободно струясь, легко изменяясь под рукой мастера в виртуозных и весьма вольных импровизациях, так, что не всегда сразу можно было узнать знакомый мотив, начинающийся вдруг то легкой ригурнелью, то звенящим тремоло, то громовым, трагическим басом. Полы платья ее при этом как бы сами собою раздувались, словно корабельные паруса.

О том, что ей пришлось «пережить», тетя Нина говорила неохотно. «Так...» — неопределенно и добродушно отмахивалась она от наших расспросов, и мы, разочарованно вздыхая, смотрели прямо перед собой, стараясь не замечать осуждающих взглядов родителей. Смотрели, вздыхали и слушали, как жужжит муха да шелестят листки писем в подрагивающей пухлой руке, колеблемые беспокойной атмосферой тайны и загадки. Ее полумифическое, полупоэтическое прошлое и не менее таинственное настоящее почему-то мало интересовало Маринку (я полагал, по причине глубинной их соприродности, а следовательно — избыточности), но совершенно не давало покоя

мне, и я сгорал от желания узнать, что же такое из себя представляет наша тетя. Может быть, подобно греческим героям — потомкам богов и простых смертных, она имеет какие-то особенности в своем строении, вроде ахиллесовой пяты? Может быть, подобно Царевне-лягушке, ей приходится день и ночь носить на себе покрывающий некий роковой изъян этот ужасный синий халат? А может быть, она вообще не имеет тела — в привычном нам представлении? (Я слышал однажды, как поздно вечером на кухне за чаем мама вздыхала: «Бедняжка, у нее полтела, считай, оттяпали..») Я сразу догадался, о ком идет речь, и это еще больше разожгло во мне любопытство. К тому же еще раньше я слышал, как бабушка и папа говорили о ней, что она — дочь героя... Да, не исключено, что ее цветастый, до полу, халат скрывает немало волнующих жутких тайн. Но как узнать, как мне разглядеть ее дивное сложение? В конце концов, не в летнем же душе — это было бы весьма рискованно и в случае провала операции грозило роскошным скандалом. Помню, как бабушка со вздохом сказала как-то: «Все мы, бабы, одинаковые...» Что это значило? «Одинаковые»? Неужели? А как же тогда ее героическое происхождение? Ведь не может быть, чтобы она и, например, моя сестра... Нет-нет, в сути своей, раздваивающейся, там, на фотокарточках, — это конечно, но так, вот прямо так... Я осторожно, чтобы не спугнуть, поделился своими соображениями с сестрой, и Маринка простодушно обещала мне помочь в этом вопросе — была пятница, и после обеда, как обычно, собирались топить баню.

Уже перед сном, распаренная и с волосами, курчавящимися, как у Медузы Горгоны, Маринка шепнула мне то, в общем-то, бабушка права... Я не поверил: что-то здесь не то. Какое-то полное противоречие, абсолютное несовпадение образов! Вернее, их фатальное расхождение — малышки Ниньи, так естественно ставшей моею сестрой, корабля, спасенного индейцами и... Разность образов должна была продолжаться и дальше, вплоть до молекулярной разности веществ, образующих тела! И опять же, это полупоупендарное, полумифическое прошлое, берущее начало от неизвестного героя... Ведь не могло же это не проявиться во плоти! Налицо была полная неразбериха не только с невидимыми временными пластами, но, более того, нарушалась сама элементарная первооснова существования материи! Нет, определенно Маринка чего-то не доглядела. В голове крутилось еще сказанное кем-то, не помню о ком: «Нет, она слеплена из другого теста!» Может быть, это тоже о ней? Но почему из «другого»? И почему «теста»? Никто из нас не был сделан из теста, но... Может быть, как раз она? (Я помнил, как отец рассказывал мне о Големе.) А из какого, из сдобного? Песочного? Слоеного? Я подумал, что, скорее всего, из сдобного, но ведь возможны и варианты, я могу ошибаться... Эту загадку необходимо было разрешить, и чем скорее, тем лучше — терпеть уже не было сил.

Наконец, собравшись с духом, я решил проверить свою гипотезу. Момент был выбран удачный: в ближайший воскресный вечер, после сообщая приконченной взрослыми «Тамянки», я подкрался к тете сзади и обнял ее, уткнувшись носом в шею, торопясь уловить: ваниль? Корица? Яичный желток? Сливки? «Мальчик мой! — растроганно прошептала тетя. — Мальчик мой, один ты меня любишь! Дай я тебя поцелую!» И как я ни уворачивался, она схватила меня за руку, обвела вокруг себя, словно планету вокруг светила, и ткнулась большими дряблыми губами мне в щеку. Мне стало жарко и стыдно, в уголках ее глаз я заметил блеснувшие слезы...

Во избежание дальнейших эксцессов эксперименты по выяснению состава тети я решил временно прекратить. По крайней мере, в результате проведенных исследований тогда ясно стало прорисовываться одно: доматериальное существование моей сестры, брезжущее в тумане и мгле эпохи открытия обеих Америк.

ТА СТОРОНА

Однажды, в том самом июле, когда мне было уже десять лет, а Маринке около пяти или шести, мы с нею наконец решились переправиться на тот берег речки. Вид его, сонный и нечеткий, расплывающийся в мареве дрожащего летнего воздуха, давно привлекал и наши взоры, и наши мысли. Недоступный, он казался нам прекрасной чужой землей, сказочным миром, где все не так, как здесь, и даже небо над ним казалось нам небом других миров. Мы были уверены, что, ступив на его землю, и мы станем такими же особенными, необыкновенными, словно, причастившись его тайн, отблеск их навсегда унесем с собой. И хотя воображение наше, буйное и богатое, с удвоенной силой рисовало самые фантастические чудеса, ожидающие нас там, больше всего нас сводило с ума именно то, что мы *даже представить себе не могли!* (Произнося эти слова, Маринка схватывала свое круглое лицо в ладошки, словно вазу, готовую опрокинуться и разбиться от невозможного, невероятного потрясения.) И хотя добраться до того берега было, в общем-то, просто: наша речушка была настолько мелкой, что взрослые легко переходили ее вброд, держа над головой узелки с вещами и едой (вода едва достигала им до груди даже на середине), но наш рост не позволял нам воспользоваться привычным для большинства путем, и потому мы мечтали переправиться туда на надувном матрасе. Долгих три недели мы собирались с духом, чтобы совершить сразу два преступления: похищение из дома вещи и купание без спросу. Однако лето уходило безвозвратно, соблазн рос, и в конце концов страх наш отступил. Матрас мы тайком стащили из кладовки, когда мама ходила в магазин с тетей Ниной, а бабушка спала после завтрака, а сумка для него нашлась прямо сама собой: вывернутая наизнанку для просушки, она висела на шесте возле калитки.

Сначала, обрадованные успехом первого этапа нашей кампании, мы решили надуть матрас прямо за сараем, но Маринка первая сообразила, что тогда мы легко можем попасться на глаза взрослым: или своим, или соседям, которые обязательно расскажут нашим о том, что видели нас двоих, шествовавших с надутым матрасом в сторону речки, и тогда — прощай, экспедиция, и здравствуй, грусть. Посоветовавшись, мы решили сложить его в ту самую случайную сумку и на следующий день после обеда, запихнув туда же и пару припасенных бутербродов, отправились в путь. Матрас оказался большим и тяжелым, и сумка больно била по голым икрам, но я упорно тащил ее через сад и заросший травой пустырь — так идти было чуть дальше, но безопаснее: все ходили купаться по тропинке. Маринка, забегая то справа, то слева, все хваталась за ручку, желая мне помочь, но я мужественного говорил, что не надо — мне не тяжело. Идти и говорить было трудно, но, впрочем, мы почти и не разговаривали. В тишине было особенно слышно, как истошно звенят кузнечики. Впрочем, «звенят» — не совсем верное слово. Звук был такой, словно узкую стальную полосу быстро-быстро водили о другую, такую же. «Это они ногами! — сказала вдруг Маринка. — Задними!» — «Угу», — буркнул я. Ручки сильно резали ладони, и углы сумки уже оставили пару хороших царапин на моих ногах. На задних. Воздух был жарким и влажным, и огромное рыхлое солнце медленно, но уверенно поднималось на вершину седьмой хрустальной сферы.

Наконец мы пришли к реке. Надувать решили под навесом плакучей ивы — чтобы было незаметнее. Я взял в губы оглушительно пахнущий резиной сосок, как видел это у взрослых, и сделал первый выдох в беспросветную глубину полосатой резиной туши. Туша никак не отреагировала. Тогда я дунул еще. И еще, и еще, набирая полную грудь воздуха и отдавая его весь, без остатка, не успев даже насладиться им пол-

ностью сам. Спустя вечность очертания матраса наконец стали изменяться в сторону желанных форм. От отчаяния я чуть не заплакал, но поскольку дело было начато и тот берег был совсем рядом, я продолжил. Солнце палило уже вовсю, даже сквозь густую пелену ветвей, пот противными холодными струйками затекал мне в уши, а перед глазами кружились и кувыркались ослепительные круги, расцветкой напоминавшие злосчастный матрас. Маринка прыгала где-то рядом — я слышал ее голос — и собирала прошлогодние веточки. «Эта — для костра!» — восклицала она, отыскав очередную. «Для какого костра? — раздраженно подумал я. — У нас даже спичек нет! И вообще...» Но ничего ей не сказал: экономил силы, да и боялся выпустить изо рта резинку — второго такого надувательства я бы не пережил.

Наконец матрас был готов. Не такой тугой, как у взрослых, он все же выглядел вполне подходящим для переправы. В голове моей гудело, а грудь болела так, словно я наглотался стекловаты. Пьяно пошатываясь, я отволол матрас к воде, положил в его изголовье сумку с бутербродами и велел Маринке идти рядом: залезем, когда зайдем поглубже. «Сначала ты, а потом я». (Почему я так решил, почему нельзя было лечь ей на матрас сразу у берега — я не знаю. Возможно, я просто плохо соображал после долгого кислородного голодания.) Река была тихой и прозрачной. Сквозь зеленоватую толщу вод было видно, как вяло колышутся длинные нечистые нити водорослей, прикрепленные ко дну, как стремительно перемещаются стайки мальков поодаль. Тайна того берега начиналась прямо отсюда, с замусоренного мелкого песочка, с поросшей гусиной травкой земли, полого уходящей в воду и становящейся, прямо на наших глазах так легко и просто речным исподом, которое вот буквально через пару десятков шагов выходило из воды уже новой, неведомой и желанной землей. Немыслимо изломанными, белыми ногами мы ступали, с каждой секундой теряя вес своего обыденного и такого скучного существования. Издали, звонкие и пронзительные, доносились крики отдыхающих, бухали гулкие шлепки по мячу. Где-то надрывался транзистор.

Когда Маринкины плечи, маленькие и округлые, как мячики для пинг-понга, качались над водой, я остановился и скомандовал: «Лезь!» Маринка послушно навалилась на матрас, но он, слегка прогнувшись, тут же легко и грациозно отплыл в сторону. Тогда она попыталась придержать его руками, но это оказалось не так просто — словно зверь, оказавшийся в родной стихии, этот притворщик решил проявить свой истинный норв: он не давался. Он избегал ее. Изящным обманным движением отрицал любую попытку приручить себя, уворачивался, отплывал и, взбрыкнув, как ни в чем не бывало снова безмятежно покачивался под самым носом. Я безучастно наблюдал за этой борьбой сквозь радужные круги, все еще полыхающие перед глазами. «Подожди, — сказал я наконец, — сейчас помогу». Я подтянул матрас к себе, велел ей опять взяться руками за край и присел, стараясь обхватить ее в воде за ляжки, чтобы приподнять и положить сразу посередине. Из детской энциклопедии, которую я успел уже прочесть вдоль и поперек, я знал, что вода плотнее воздуха в восемьсот раз, и потому все предметы в ней становятся легче, но... Во-первых, я не считал свою сестру предметом, а потому совершенно сознательно исключал действие этой гравитационной скидки на нее, а во-вторых, подсознательно я не ожидал, что она окажется настолько легкой. Впрочем, возможно, что это уже начали проявляться особенности ее пребывания в нашем мире, связанные с утратой массы покоя, обретением повышенной проницаемости для световых лучей, а также с появлением этих странных, ее сугубо личных взаимоотношений с волнами времени... И еще: кажется, тогда я впервые в жизни прикоснулся к ней. Именно прикоснулся. Что означает, в первую очередь, «Приблизился». «Почувствовал». Или — «Соединил границы собственного тела с границами ее тела». Или — «Образовал общую неравновесную систему».

Или — «Почувствовал жизнь, наполняющую другого человека». (Случайные касания при передаче чего-либо из рук в руки не считаются, так же как и объятия во время драк — в те моменты ее по большому счету не существовало.) Ее ноги показались мне поразительно тонкими, твердыми и, как это ни смешно, необычайно мокрыми. Локти — острыми...

Я поднатужился и как можно сильнее подбросил ее вверх. Заездив, Маринка вскарабкалась наконец на матрас, замерла на мгновение на четвереньках, привыкая к ненадежной своей опоре, и, осторожно развернувшись, со счастливой улыбкой улеглась. Я, довольный собственным успехом, опустил руки на край матраса, машинально выпрямил их, и Маринка, не успев сказать ни слова, тут же скатилась на меня и скользнула в глубину.

Как передать мне это оцепенение, в которое впал мир, это оглушительное обворожение катастрофы, это обрушившееся на меня безмолвие и замедление времени? Словно открылось перед моими глазами новое, неведомое измерение пространства, в глубине которого нежно светилось худенькое тело с раскинутыми в стороны руками и ногами, словно бы зависшее на месте и в то же время медленно заваливающееся на бок, окутываемое, все больше и больше — словно теперь они почуяли свободу расти стремительно и беспрепятственно, как в сказке — ореолом светлых волос.

Паря легко и грациозно, так, словно никогда еще в своей прежней жизни оно не знало ни трения, ни притяжения, ни инерции, словно никогда-никогда ему не встречалось никакого сопротивления, ни материи, ни духа, но всегда оно пребывало в той истинной плероме, где не ведомы ни верх, ни низ, ни стыд, ни страх, тело ее на моих глазах медленно и неотвратно устремлялось к вечности, бесконечно замедляя скорость своего движения. Приглушенная мгlistым водоворотом белизна ее кожи, широко распахнутые голубые глаза (взгляд их, кажется, в тот миг обрел отдельное, свое собственное существование и с тех пор уже навсегда, словно исполняя обет в честь увиденной новой жизни, едва ли не полностью заместил в моей памяти образ их обладательницы) удалялись от меня, опускались на дно, не сдвигаясь с места. В этот момент сестра моя показалась мне такой прекрасной и такой чужой, что, может быть, еще и поэтому первые мгновения я бездействовал, не решаясь... Ундина. Впервые в жизни я видел, как сливаются воедино движение и неподвижность, как сущее уходит, оставаясь на месте, и во плоти присутствовал там, где жизнь вот-вот уступит, уйдет и уже никогда не вернется. Это обаяние катастрофы поразило меня на всю оставшуюся жизнь. Вероятно, именно тогда сквозь подвижную оптику колышущейся воды я впервые увидел ее по-настоящему удаляющейся от себя, отъединяемой, готовящейся принести присягу открывающейся форме инобытия...

Впрочем, ступор мой не продлился долго. Опомнившись, я присел ((резкие движения отдались ощущением шелка, плотно повивающего мои бока и грудь. (Мне было знакомо это скользкое, спеленывающее прикосновение — однажды мы с Маринкой, пока никого не было дома, нашли в шкафу у тети Нины то платье, о котором она, рассказывая трагическую историю своей любви, говорила: «В том самом, шелковом!..», и по очереди примеряли его, торопливо ныряя в скользкие тугие складки, тяжело пахнущие духами, и пылью, и еще чем-то острым, дразнящим, будоражащим каждую клеточку тела, ныряли, по-настоящему задерживая дыхание, словно ловцы жемчуга, и, помедлив, выныривали обратно, в наш мир, из ускользящей голубой проруби с другой стороны, передавая его друг другу молча, трепетно, остерегаясь уронить. Мы изучали его глубины сосредоточенно, стараясь как можно полнее запечатлеть на своей коже все, что оно хранило в себе, все, что было с ним связано прямо и опосредованно, что могло относиться к нему даже гипотетически, спешно припоминая тетины рассказы, обрыв-

ки фраз, слова... После, прежде чем одеться в свое, мы оглядели друг друга: кажется, мы чуть-чуть изменились, стали немножко другими, чем были прежде, до того, как по очереди упали в холодные объятия шелка... Неловко, словно чужими пальцами — чужое, мы поднимали с пола свою одежду, путаясь и передавая друг другу, негнушующая, легкую, как хитин,) и я успел отметить, как рвутся его лоскуты,) и схватил ее поперек тела, вынул, поднял над водой. «Нормально?!» — воскликнул. Маринка кивнула головой и закашлялась. Я сделал два больших шага к берегу, поставил ее на ноги, схватил за угол злосчастный матрас, потом поднял со дна свалившуюся сумку и перевел наконец дыхание. Развернувшись, мы молча побрели обратно: я с матрасом в одной руке и сумкой в другой, а впереди — Маринка. Уверенный, что больше с нею ничего уже не случится, (но не это было причиной...), я всю дорогу избегал смотреть на нее.

Так же молча я потом давил и пинал этот матрас, выгоняя из него остатки воздуха, а Маринка сидела на корточках рядом и отрешенно смотрела, как оседает цветастая ткань, обретая рельеф покоящейся под ним земли, как я топчу ногами переливчатые линии и круги, изредка против воли бросая взгляды на ее съезжившуюся фигурку, на спину, похожую на утлую лодочку, перевернутую вверх килем, на сосульки потемневших волос, на растопыренные острые локти...

ДНИ ТВОРЕНИЯ

На днях в ящике своего стола я нашел темно-бурый, с рыжеватым оттенком, земляной шарик. Такие шарики, размером с лещину, мы катали с сестрой в детстве, когда наступала весна и земля на грядках оттаивала настолько, что можно было соскрести ее верхний слой толщиной примерно с палец. Обычно после обеда, когда еще слабое солнце уже начинало заметно клониться к западу, мы уходили в дальний конец нашего сада, туда, где розовый частокол яблонь едва скрывал нас от наших домашних граций, и там, присев на корточки, начинали самозабвенно ковыряться в грязи, стараясь выискать комок попестрее, поинтереснее. В азарте поиска мы доходили до самого льда — до той глубины, где земля, еще не оттаявшая, больно царапала пальцы и цеплялась за ногти. Казалось, что там, в стылых неподатливых глубинах таится самое интересное, удивительное, что-то такое, чего нет на поверхности. Может быть, сокровища, некогда зарытые здесь шайкой разбойников, может быть — золотой самородок или осколки древнегреческой амфоры, может быть — кристалл или, в конце концов, некая *интересная находка*. «Мать сыра земля, — бормотал я вычитанные в сказке про Добрыню Никитича слова, расшатывая пальцами мерзлые комки, — мать сыра земля, отдай!..» Но мать сыра земля не очень-то слушалась нас. Впрочем, охота за сокровищами не была главной целью наших изысканий. Главным было добыть именно интересной земли, что-то обещающей, благодатной, насыщенной какими-нибудь включениями, крупинками, зернышками, и из нее скатать свой самый лучший шарик. За одну вылазку полагалось делать только один шарик.

Мы долго и старательно месили добычу в руках, не брезгуя, разминая и любовно оглаживая ее, согревая дыханием, любуясь формой, в которую самозаклучалась между нашими снующими ладонями масса, еще только что бывшая бесформенной, и вдруг, поддавшись неожиданному охватившему нас желанию разрушать созданное и близкое к совершенству, не стовариваясь, одновременно, словно соединенные чем-то, что незримо, но согласно двигало нами во всем, безжалостно расплющивали, раздавливали, вминая пальцы в новоявленные полюса, разрывали на части плоды своего труда, торжествующе давили их, уничтожали и сжимали, скручивали, сдавливали в кулаках, словно желая изничтожить самую материю, стискивали ее до изнеможения, до судорог

в предплечьях и до полного исчезновения лунул в багровых приливах пяти своих взбесившихся рек, удовлетворенно наблюдая, как, завиваясь, бурые червяки лезут между грязных пальцев и как они никнут, валяясь обратно, туда, откуда изошли.

Отдышавшись, мы принимались вновь собирать, соединять, слепливать и скреплять из подобранных ошметков подобия небесных тел, что без устали носятся над нами в космической выси. Сидя на корточках, в своих детских курточках и намокших от пота вязаных шапках, мы чувствовали, как постепенно жажда разрушения покидает нас, оставляя в руках только желание творить, похожее на усталость на закате дня и подобное мудрости, и уже молча, без торжествующих воплей (сдавливаемых, впрочем, чтобы нас не обнаружили) мы самозабвенно трудились над сферами, в которых слабое тепло далекого весеннего солнца соединялось с теплом приблизившихся к ним вплотную наших собственных жизней.

Скатав и придав шарикам по возможности наиболее совершенную форму, мы тайком проносили их в дом, в свою комнату и клали на батарею, где за пару дней они высыхали до твердокаменного состояния. Первоначально в наши планы не входила сушка — батарея использовалась просто как укромное местечко, где во время неожиданной генеральной уборки они могли уберечься от выбрасывания, и лишь потом совершенно случайно нами было открыто благотворное воздействие сухого жара на рукодельные планеты.

После того как пора ожидания заканчивалась, первоначально нескрываемая, даже показная, но со временем уже таимая, все более приобретающая черты и правила языческого ритуала, (Кто это придумал? Кто сообразил, что до совершенства можно и нужно доводить все, связанное с созиданием, в том числе — а может быть, и даже особенно! — и сам период созревания свойств креатуры? Кто додумался, нет, не додумался, — кто почувствовал, ибо это можно только почувствовать, то есть уловить, понять и верно истолковать посланное, а значит, уже существующее где-то, и, вероятно, всевечно, сообщение — кто из нас первым узнал о том, что способ выживания, то есть, вид проведения времени, проходящего до наступления окончательного момента завершения процесса творения, возможно, важен столь же, сколько и сам процесс собирания чего-то из ничего (а может быть, даже и важнее, ибо это — последний и решающий фазис творения), — нет и не может быть на это ответа, как не может быть окончательного ответа на лукавый, ускользающий в самой постановке своей вопрос о миге рождения Вселенной и загадочной связанности в ней всего со всем и всего через все. Мы были связаны, просты и первичны, подобно пронизывающему пространству Вселенной двухатомарному водороду, покорному, волнуемому и чувствительному — плоти от плоти ее, ее вездесущему духу и ее же беспредельному телу), но таимого так мучительно и мучительностью своею дарующего нам особенную, невероятную, неизъяснимую сладкую муку), наступала эра отдохновения и созерцания.

Я помню, как мы лежали на полу в пятнах солнечного света, чье отфильтрованное запылившимися за зиму стеклами тепло накрывало нас шерстяным одеялом, лежали в оцепенении, лишь притворявшимся бездельем, и перекадывали из ладони в ладонь, передавали из щепоти в щепоть, перекадывали аж до запястий (где истонченная, нежная кожа сообщала об их новых, непознаваемых иначе свойствах) свои затвердевшие земляные шарики, любясь завершаемым трудом. Мне кажется что именно тогда наши души, прежде огрубевшие в сосредоточенной работе рук, а после долго оглушаемые самообманом выдержки, наконец раскрывались подобно цветкам, и начинали работать истово, изобильно, постигая в собственном, особенном труде своем прекрасное и, соединяясь с ним, приводили себя в покойное и мирное соответствие с гармонией сфер. Наши взгляды, прищуренные и пытливые, на шероховатой несминаемой

поверхности различали поры, бугорки, угольно-черные точки, сероватые зерна и играющие в лучах света крохотные блески. Чуткие ноздри, подрагивая, втягивали в себя воздух отяжеленный запахом пыли и собственных потных рук, маленькие уши ловили восторженный шепот друг друга: «Зыканско! Офигеть...»

Когда же восторг наш спустя несколько дней ослабевал и ямки, выдавленные твердыми комочками в пластичной субстанции наших душ, заравнивались, мы устраивали бой. Он всегда начинался внезапно.словно сошедшие со своих орбит планеты, шаррики со всего маху сшибались, сталкивались, крошась и трескаясь, и в конце концов разваливались на части, рассыпались и гибли без следа и без памяти, завершая такую долгую и такую непростую цепочку превращений, вовлекшую в себя как материальные, так и нематериальные субстанции и силы. Те крупницы, которым удавалось уцелеть в апокалиптических сражениях, наши пальцы последним усилием превращали в труху и пыль. В метафизическое ничто. Впрочем, иногда в горстке темно-серого праха обнаруживались некие неделимые остатки, следы настоящей жизни: семена трав, почки, волоконца корней...

СЕМЕНА

Моя любовь, подобно Кирлианову свечению, окружает меня всю жизнь, от самого рождения. Она ниоткуда не приходила и никуда никогда не исчезала. Даже тогда, когда вокруг меня не было никого, к кому бы она могла склониться, вокруг кого могла бы собраться сияющим облаком, — в такие времена она была просто равномерно рассеяна в пространстве, подобно реликтовому излучению Вселенной. Когда из моей жизни ушел человек, вокруг которого она впервые смогла собраться в цельный сияющий кокон, — ушел неожиданно, так же, как и появился, — я ощутил не столько ревность, сколько разочарование и сожаление. Сожаление — от того, что не стало в мире больше такого прекрасного сооружения, подобного зримому соединению двух сефирот, разочарование же... Разочарование всегда сопутствует тому, кто строит, и нет смысла доискиваться его причин, поскольку оно само причина дальнейшего созидания.

Я переболел этой потерей, просто переболел: мучительно и долго, утратив в весе столько, что ходил едва касаясь начавшей желтеть травы подошвами ног и поминутно хватаясь за казавшиеся едва теплыми стволы яблонь, прислоняясь к ним всем телом и подолгу замирая перед тем, как продолжить свой путь — чтобы собраться с остатками веса в своем теле и неосторожно не улечь в небесную высь, делая следующий шаг. Я собирался с собственным весом так, как собираются с силами: отчаянно и долго. (Так долго, что мама, или бабушка, или тетя Нина, встречая в глубине сада мою застывшую фигуру, обходили ее стороной, считая, что я сплю в обнимку с деревом согласно какой-то новой методике здорового образа жизни. Стараясь не шуметь сами, они трогательно и нелепо подавали знаками просьбы не шуметь и вести себя как можно тише и всем остальным, кто заходил к нам на участок. Оберегая мой мнимый сон, они надеялись заодно узнать от меня наконец, есть ли у деревьев своя собственная жизнь и способна ли она перетекать к тому, кто способен, соединясь с нагретыми солнцем стволами, продолжительное время не двигаться, касаясь дыханием — дыхания, сердцем — сердца, а корнями — корней.)

Несмотря на свою веру в то, невозможно забыть то, чему не учился, я, как зачарованный, бродил по извилистым дорожкам сада, внезапно прерывавшимся там, где еще вчера было их продолжение, и появлявшимся за одну ночь там, где еще накануне была лишь трава, ломая голову над тайной этого великого озарения, этого трепетного чуда, пытаюсь понять, как же удалось мне создать вдруг такое прекрасное здание люб-

ви. Словно последний тупица, вновь и вновь пытающийся прочесть чужие чертежи, я возвращался в прошлое в надежде обнаружить там самое начало момента творения и проследить его развитие, чтобы разгадать все его секреты, изучить все перипетии развития сюжета, чтобы потом, обладая необходимыми знаниями, воссоздать все заново самому, но без такого трагического финала! Не понимая, что в план здания входит все... Все-все, что было. И увлекаясь в своих мечтах этой новой постройкой, которую я надеялся когда-нибудь возвести на месте старых развалин, я вдруг просыпался, осознавая, что все уже создано, все уже существует и принадлежит мне всецело и безраздельно, а другого уже не будет никогда.

Я и вправду засыпал в обнимку с деревьями, не разбирая в зеленом сумраке сюжетных линий ни собственных снов, ни тех, что проникали в меня сквозь камбий. Соединяясь в прекрасные и химерические картины, они переполняли меня всего настолько, что вытесняли все иное из тела прочь с такой небывалой скоростью и силой, что мне даже приходилось дважды в неделю — против одного, по обыкновению — стричь ногти на руках и ногах и ходить в парикмахерскую, что была в конце нашей улицы в одном помещении с летним кинотеатром, каждую субботу, чтобы привести в порядок без удержу разраставшуюся копну на голове. (Не говоря уже о том, что в наш туалет, стоящий за самыми последними яблонями, у самого забора, я бегал теперь так часто, что изучил его выбеленный изнутри и заново затянутый серой паутиной жаркий сонный покой, как особого рода поэму, таимую и лихорадочно повторяемую наизусть к месту и не к месту, отрывками, строчками, фрагментами, яркими образами...)

В этом странном состоянии, похожем на сомнамбулизм, я пребывал часами. Выходя утром в сад, чтобы срезать к завтраку луку, я приходил в себя лишь в полдень, очнувшись от звонкого окрика матери, присевшим на корточки над грядкой, с рукой, протянутой с ножом к пучку зеленых стрел. Отправившись по просьбе бабушки после обеда собирать малину, я забирался в самую гущу кустов, поближе к земле, к корням, чтобы густая и колючая сеть удержала меня от непредвиденных случайностей, но все равно спустя час или два находил себя левитирующим над кончиками лениво колышущихся розоватых ветвей, грезящим с открытыми глазами о ее дыхании, о звуках ее голоса. Рассматривая свои руки, я думал: «О, не может быть, чтобы у нее были такие же пальцы, и такие же заусенцы у ногтей, и такие же шрамы, как у меня!» Касаясь ладонью одной кисти тыльной стороны другой, я пытался хотя бы на миг разделить свои ощущения, забыть одну из рук и почувствовать ее заново, так, словно одна из этих рук ее и словно это она касается меня или я касаюсь ее. Дотрагиваясь пяткой одной ноги до пальцев другой, я, подобно праведной матери, представшей на суд Соломона, отрекался от половины собственной плоти и говорил в себе: «Не знаю, кто он», и замирал от предвкушаемого сладострастия. И хотя обмануться в сфере телесного осязания так же невозможно, как и увидеть себя во сне мертвым, порою ощущение двойственного осязания все же озаряло меня — всего лишь на миг, подобно вспышке магния, и тогда я едва не терял сознание от охватывающего меня сладостного и смертного восторга. И деревья вокруг, и кусты, и большие и малые травы стояли вокруг меня зримыми расколами тяжкого знойного пространства, заполненными упруго трепещущей жизнью, извилистыми, причудливо раскинувшимися капиллярами, наполненными материей, проводящими время подобно тому, как провода проводят электричество, и потому — смертными, смертными, но прекрасными и неповторимыми.

Время! Я почернел и стал землей.
Время! Я стал цветами на этой земле.
Время!

Пахнет спитым чаем, сырой заваркой. Холодно. Холодно утром. Горсть капель бросаю на землю — я держал их всю ночь на своей голове. Вчерашний дождь, вчерашний дождь...

И вечер, и чай на веранде пред тем — рука смуглая, мягкая выплеснула, и сполоснула, и насыпала — все, все как учили обращаться с пузатым голубым глобусом (это — тоже плод. «Плод бабушкиных усилий!» — с умилением говорит тетя Нина. «Да... — вздыхает мама. — Когда-то их было больше, они были все... Ах!» О, какие вы, неведомые плоды, которых уже нет? Вас было девять?) для получения, настаиванья, выжидания и провозждения — о, «провозждения» в полной форме, только в полной, через «и» — времени. Время! Время! Время! (Прежде мы с сестрой оглядывались, мы оглядывали — подними руку! повернись! — друг друга, пытаясь разглядеть его невидимые, холодные, как волны воздуха, поздней порою волочащиеся о голые икры волокна. Туманные — может быть, вязкие — может быть, едва отблескивающие — может, может быть... Мы замирали и заглядывали, поднимались и спускались, прислушивались, встав пажами за спинками, положив руки им на плечи, обняв их за шеи, обожаемые ими, и медленно, незамеченные, отходили — словно репетируя неизбежное... Мы были в нем, купались, мы выдохали его, но не чувствовали, не чувствовали, господи, не чувствовали! Чувствуя лишь, как кружатся наши головы, как смех разбирает нас и желтыми всполохами, золотистыми искрами вылетает из наших невинных ртов, делая тьму и глубину темнее и глубже и движение превращая в ужас. О, как стремительно взрослые мы там, на углу веранды, у георгина! О, цветы, цветы, цветы! Цветы-свидетели, цветы-устилатели, цветы-уводители и возвращатели с той стороны, с той стороны...)

С той стороны (вертеп наш вращается), с той стороны, (раек теснится и воздух в нем горяч: о, вспыхнет!, о, воспламенится!), с той стороны (тетя Нина истекает нектаром, бабушка пускает стрелки, мама благоухает), с той стороны — мы поднимаемся в бельэтаж:

- Видишь?
- Вижу.
- Слышишь?
- Слышу.
- Спокойной ночи!
- Спокойной ночи!!

С той стороны, с той стороны...

Утром ноги наши ступят на крошки чашелистиков, на осколки семян, на россыпь: «Как выросли, глянть!» Высыхает выброшенная заварка, падают капли, пахнет слабо и тонко — если только лечь, лицом окунуться, оставив посмертную маску в земле — тонко и слабо пахнет спитым чаем: день вчерашний прошел. Он был здесь, чувствуешь? Здесь, здесь! Ой, крошка! Тише, тише, тише... Не топай. Сойди. Не буди: все еще спят...

Еще я цеплялся за свои грезы, еще пытался удержать их и даже раскрывался им, насколько можно, в уединении сада; еще, приманивая, замирал, подобно рыбаку, нависшему над поплавком своего удилица, над травой, колеблемой ветром и связанной ветром, подобно ему же, с уже ускользящей навек в сонную зеленую глубину тенью, еще чувствовал слабеющие рывки и умолял вернуться, подойти поближе и остаться, — все было тщетно: время первой любви вышло, и она отцветала, роняя свои невесомые, прозрачные одежды, и ветер носил их по земле, скручивая, блеклыми червячками, и оставались во мне семена — до поздней осени.

Однажды, очнувшись от сна, я перестал видеть свою сестру... Еще встречал я порой ее маленькие «лодочки», сухие и жесткие, словно высохшие стручки акации, еще слы-

шал иногда, за зеленою клеенкой летнего душа, ее пение и шум текущей воды, и мыльная пена, похожая на жидкое серебро, текла из-под гниющих досок ручейком и скрывалась в крапиве, а у порога веранды все еще блестела расставленная ею игрушечная посуда: крохотные фарфоровые чашечки, разрисованные черными сороками, и белые толстогубые блюдца, но самой ее уже не было нигде. И напрасно ходил я по комнатам дома, таясь и ступая бесшумно, как индеец, чтобы не спугнуть ее, — скоро даже голос ее перестал звучать, даже одежды ее, прежде так часто опадавшие в спешке на пол, исчезли. И когда однажды я, не выдержав, спросил, где моя сестра, тетя Нина и мама, переглянувшись ничего не ответили мне, но лишь покачали головами...

Несмотря ни на что, мой первый опыт максимальной концентрации любви в замкнутом живом объеме не оказался бесплодным: в последний день лета, когда все чары рассеялись окончательно, я ощутил в себе что-то вроде твердой крупницы, которая, бывало, оставалась в наших пальцах после того, как они раскрошат земляной шарик, что-то вроде твердого, острого семечка. Это было понимание того, что всегда и всюду, что бы со мной ни случилось, я буду один. Всю жизнь.

ТОНКИЕ МАТЕРИИ

Однажды бабушка, жившая вечно, умерла. Ее похоронили на нашем кладбище, на опушке леса. Я помню, как темнела его колючая щетина, как тянуло от земли стылой сыростью и затхлостью, а с неба нам на головы летели мелкие снежинки и взрослые, шедшие кучкой «своих», как на первомайской демонстрации, вполголоса переговаривались, что хорошо, в общем-то, что все случилось сейчас, когда земля мягкая и работа стоит не так дорого, как зимой.

На следующий день все ходили по дому такие же притихшие, как там, на кладбище, и на следующий день, и на следующий после следующего, и так длилось, казалось нам с Маринкой, уже целую вечность, пока тишину воскресного утра не разорвал истощенный мамин вопль: «Паразит! Ты! Ты! Ты что ж это, паразит!..» Мамин голос доходил до этого места, осекался и начинал фразу снова, брал ее приступом, наливался от первой до последней фонемы силой и мощью, закипал праведным гневом и вдруг обрывался, раз за разом, раз за разом, пока не оборвался совсем затихающим рыданием и какой-то совершенно невнятной окрошкой слогов. Возбужденные, мы слетелись на крик в коридор второго этажа, обступили ее и недоуменными взглядами, невнятными сбивчивыми расспросами попытались узнать причину столь мощного и неожиданно взрыва, но — ничего. Мама вытирала мелкие слезы и стоически, демонстративно молчала, но скоро показала тете Нине — коротким движением подбородка — на нас: «Не при детях», и тогда нас убрали, вывели, исключили из завязи набухающей, огромной тайны.

Мы сидели в своей комнате молча, тихо, почти неподвижно, неподвижностью своей старательно усиливая и молчье, и тишь, возводя оцепенение, охватившее наш дом в последние дни, в высшую, немислимую степень, когда стекленеет сам воздух, сгущаясь до состояния тверди. Мы сидели и сквозь полуприкрытые глаза наблюдали, как эта твердь вокруг нас темнеет, превращается в янтарь, а янтарь — в черную слюду, а слюда — в черный-пречерный шелк... И так мы сидели бесконечность, и еще бесконечность, и еще полбесконечности, пока сдержанные рыдания мамы внизу, на кухне, не оформились в человеческую речь, обращенную к сестре ее матери: «Ведь ты представляешь, он же, паразит какой, а! Я же порядок навести вошла, я убиралась и нашла их совершенно случайно, он их, паразит, держал в столе и даже не прятал!» И вот эта каденция «даже не прятал» звучала так пронзительно, так звонко и так интригующе, что мы с Маринкой, несмотря на жгучую обиду на взрослых, лишивших нас чего-то невыно-

симо-ощутимого, материально-таинственного, снова решили выйти и спуститься вниз. Там, в ярко освещенной кухне, друг напротив друга, в глубоких креслах сидели мама и тетя Нина, и мама после небольшой паузы, после короткого взгляда на нас, явившихся ко второму акту, продолжила, видимо махнув уже рукой на условности: «Он там, представляешь, прямо так и написал, что она умрет. Осенью. Представляешь? Я когда читала, у меня же волосы дыбом вставали, Нина Давыдовна!» — переход ко второму лицу был, видимо, спонтанным, но эффектным приемом ораторского искусства. Тетя Нина дернулась всем своим крупным телом, словно лошадь, на теле которой овод нащупал чувствительную точку, и повернулась к окну — там, в полумраке, словно поверженный пророк, сидел на табуретке грустный наш отец, скрестив в щиколотках могучие шишковатые ступни, босые, как и положено библейскому пророку, положив на колени под вытянутым трико такие же огромные бугристые руки. Волосы его, редкие и все еще чуть вьющиеся, были мокры — то ли от лунного света, то ли от испарины, блестящей на лысом его темени. «Ты зачем это написал, а?! Ты зачем это писал, писатель ты чертов! Паразит!» — обратилась к нему мама уже хорошо контролируемым полусшепотом, но отец молчал и даже не повернулся в ее сторону, даже не поднял голову — видимо, все так же, в соответствии с ролью посрамленного пророка. Нас он не видел. Что, учитывая его положение, было неудивительно. «Писааатель! — горестно и презрительно выдохнула мама. — Хоть бы подумал немного, что ты пишешь-то... И о ком! Ведь это мать моя! Я запрещаю тебе! — тут голос ее опять взмыл к горным и зазвенел оттуда медью ангельских труб: — Слышишь?! Я запрещаю тебе отныне писать о будущем! И вообще, писать...» — закончила она, спускаясь уже, теряя силы, угасая.

Как постепенно выяснилось, мама, поднявшись в комнату к отцу, чтобы навести порядок, прибираясь в ящике стола, нашла его рукописи, в которых он, по вольному попущению своего свободного воображения, описал смерть бабушки — что, на мой взгляд, не являлось никаким грехом: ведь все мы смертны, чего уж тут лицемерить. Но учитывая время, в которое ознакомилась с этим неожиданным, но вполне естественным «пророчеством» мама, вернее, близость двух этих времен, рассказ произвел эффект куда больший, чем мог бы его произвести, скажем, за год до этого или тем более год спустя. Это было всего лишь совпадение, простить которого отцу, однако, мама не смогла уже никогда.

Вероятно, и сама ткань нашего домашнего времени, затягивавшая прежде раны подобно древесной коре, изменилась и утратила свои живительные свойства. Она стала рыхлой, творожистой, рассыпающейся от малейшего неосторожного прикосновения к ней на мелкие мягкие комочки, на крупички, в прах. Что-то непоправимо изменилось и в самих обитателях нашего дома: мама утратила свои самые звонкие и чистые регистры голоса, отец — способность существовать в свете обращенных на него взглядов, но зато тетя Нина неожиданно обрела дар спонтанных мистических прозрений, однако, видимо, вследствие воздействия гения места длительного своего пребывания искусство это проходило не по части ее кровной веры, а относилось к епархии веры здешней, с луковками, ленточками и образами. Однажды за завтраком она сказала маме: «Олимпиада Сергеевна, должна вам сказать... — тетя замялась, катая в руках хлебный шарик, катая и катая его со все усиливающимся нажимом и будто забывая с каждым оборотом все более, что же именно она должна сказать, но вдруг, отложив его, посмотрела на маму и начала опять: — Олимпиада Сергеевна, должна вам сказать... Сегодня я видела сон... — наконец смогла перескочить она. — «Я видела во сне Валерию. Она просила покрестить ее, потому что она не может сейчас попасть в рай и ей очень тяжело там, на том свете». Мы с Маринкой замерли, ошарашенные столь неожиданным признанием от закоренелой материалистки, доче-

ри настоящего революционного героя, сделанного из другого — в отличие от всех других людей — теста. Но мама не удивилась. Она лишь задала весьма разумный вопрос: «Но как? Ведь она же умерла. Разве можно крестить мертвых?»

— Да-да, Липочка, — сразу перейдя на доверительно-деловой тон, ответила ей тетья Нина. — Я тоже спросила ее: Как нам это сделать? И она сказала, чтобы мы отнесли в церковь и покрестили там ту куклу, в которую теперь переселилась ее душа!

Мы переглянулись: мы сразу сообразили, о какой кукле идет речь. Это была старинная фарфоровая игрушка, в пыльном выцветшем сарафане, с отколотыми пальчиками на руках, паричком, сделанным из волос, иссушенность которых уже давно перешла физическую грань и продолжалась теперь где-то в области пустынных песков, тех самых, на которых некогда отпечатались следы тысяч беглецов от фараона, с молочным потрескавшимся личиком, в растрепавшихся от времени красных атласных башмачках. Это была бабушкина кукла — игрушка той девочки, что однажды через какое-то непонятное колдовство стала нашей бабушкой.

— Вы не представляете, — опять неожиданно перейдя на «вы» продолжила с жаром тетья Нина, — я видела ее словно по телевизору, она мне говорила из какого-то... вертепа, — тетья слегка замялась в поисках нужного слова, окидывая быстрым взглядом комнату и нас, — так она мне прямо и сказала: возьми мою куклу — я теперь вся в ней, — отнеси в церковь и покрести. Если батюшка откажет, то ты сама макни ее в купель и прочитай молитву.

Тете Нине, со временем начавшей продвигаться по жизни так, словно она стала помаленьку прозревать в светлеющих сумерках — уже не на ощупь, с безразличием слепого, движущегося напрямую, но по каким-то ей одним понятным приметам, подобно бабочке — действие это казалось простым и логичным, и мама, подпавшая под обаяние тетиного безумия, согласилась на обряд таинства в ближайшее воскресенье. Священника они решили не тревожить, резонно полагая, что он ответит отказом, а потому взяли с собой большую хозяйственную сумку из кожаменителя, с которой в конце лета мы все ходили за сахаром на варенье, взяли целлофановый пакет, в который должны были завернуть покрещенную и мокрую куклу, и отправились в церковь. Мы с Маринкой увязались за ними.

В церкви было прохладно и сумрачно, как в том самом лесу, на краю которого была закопана бабушка, и редкие огоньки, видимые словно сквозь кисею, дрожали вдали и вблизи в маленьких золотых чашечках, похожих на распутившиеся цветки. В тишине было слышно, как что-то потрескивает, и пахло так сладко, так вкусно, что пока тетья Нина с мамой шептались в дальнем углу у какого-то большого таза на подставке, мы с Маринкой подошли к огромной картине в резной тусклой раме и стали тыкаться в нее носами, пытаясь уловить этот запах во всей его прелести, напитаться им, вдохнуть его в себя побольше и унести, не дыша сколько можно. Мы тыкались, елозили, и я в какой-то момент даже лизнул ее, думая: не сладкая ли она на вкус? И Маринка, увидев, что я делаю, тоже стала лизать раму. Но рама на вкус была лишь чуть солоноватой. Вошел священник, и мама с тетей Ниной, словно две большие птицы, переполошились, громко зашептались, завозились, нелепо взмахивая руками, и под недоуменный взгляд вошедшего устремились к выходу, позвав за собой и нас. Мы выбрались на свет и переглянулись: сумки в руках ни у кого не было. «Я ее там оставила, — сказала мама. — Он как вошел, у меня аж сердце от страха остановилось. Ну, я сумку там и оставила. А куклу макнула в чан и под юбку себе спрятала, — тут мама рассмеялась и стала похожа на играющую девочку. Она погладила себя по животу, — вот тут она», — мы дружно посмотрели на ее вздувшуюся куртку, из-под которой торчали полы юбки. Засмеялись и пошли. И за мамой оставался тонкий след капавшей и застывавшей на морозце святой воды.

МАСКА

Когда она перестала прикасаться ко мне? Трудно вспомнить... Понятно, что это произошло не вдруг, и потому граница события и несобытия размыта, растянута во времени, но... Но оно и не продолжалось долго, это ее прощание с моей плотью. Вероятно, какое-то время она еще пыталась вести себя как прежде, заставляла себя прикасаться ко мне, гладить, может быть, даже иногда целовать, еще делала вид, что ничего не произошло, что все идет своим установленным порядком, но пружины, приводящие в действие механизм наших взаимоотношений, уже не подчинялись установленным когда-то правилам, уже не совершали втайне свою благородную работу и все чаще, вырвавшись в самый неподходящий момент и неподходящем месте наружу, кололи нас в самые чувствительные места, словно на старом продавленном диване.

Однажды, вскоре после того, как я впервые обратил внимание на это внимание, я заметил, как она вытирает руки, которыми только что, дурачась, толкала меня... Кажется, это было полотенце. Да, она вытирала руки кухонным полотенцем — первым, что попало ей, на что упал взгляд. Она увидела, что я заметил это, и улыбнулась. Как-то жалко и дерзко одновременно. Пару раз я еще ловил ее на этом — то, передав мне кружку, она, словно бы машинально, начинала комкать в руках тряпку, которой только что вытирала стол, то, коснувшись меня в узком коридоре, ведущем в зал, замирала на секунду и принималась, растерянно улыбаясь, словно школьница, тереть край своего платья... Я внимательно наблюдал за ней — она не просто комкала, не просто теребила, она проводила по материи ладонями так, чтобы движения получались скользкими, дрящными, неотрывными, чтобы на ее поверхности оставалось то, что она случайно только что переняла от меня.

Потом она перестала прикасаться ко мне вовсе — наш физический контакт прекратился. Вероятно, несмотря на все свое рациональное и позитивистское мышление, подспудно она боялась заразиться от меня... И я перестал для нее существовать. Я утратил свое тело — то, чем вторгался в ее жизнь, чем заставлял почувствовать себя существующим в этом мире, — средство, с помощью которого я достигал самых дальних областей ее истинного, потаенного бытия, тех его областей, где не существует ни слов, ни идей, ни даже абстрактных образов. Тех, что реагируют лишь на непосредственный контакт, подобно подвешенным на нитках металлическим шарам, предназначенным для демонстрации закона передачи импульса. На прикосновение.

Я утратил возможность заявлять о себе, пробираться на периферию ее сознания и снимать там маску, сообщающую подобие человеческих черт той части ее существа, что руководствуется исключительно рефлексам и дремлет там, на доисторической глубине, в темном родстве с самыми примитивными хилоподами которых простое нажатие пальцем заставляет вздрагивать и сжиматься в комочек. Части, скрытой в глубине каждого из нас и управляющей нашим поведением без помощи высших побуждений, благородных целей и гуманистических идеалов, но позволяющей выживать при самых низменных, невыносимых условиях, заставляющей рефлекторно разевать рот при сдавливании грудной клетки, отдергивать палец при прикосновении к острию иглы и избегать темных незнакомых мест. В общем, можно сказать, что она буквально на моих глазах и по собственной воле переместилась в сферу чистой идеи, отвлеченного союза и сугубого сосуществования, ни к чему не обязывающего, ничего на самом деле не связывающего.

Внезапное осознание этого неожиданно вызвало в моей памяти один давний случай: накануне Нового года взрослые наряжали елку. Они распаковывали пыльные

картонные коробки с игрушками, вынимая из шуршащих, за год пересохших, словно забытый лавровый лист, газет стеклянные гирлянды, самодельные снежинки, острожно, с грацией истинных портовых грузчиков спускали со шкафа коробки с конфетти, оставшиеся с прошлых, незапамятных празднований, подбирая и машинально перечитывая выпавшие открытки с давно выкипевшими поздравлениями от родственников, с легкими улыбками просматривали случайно затесавшиеся на те же антресоли семейные альбомы.

Мы с сестрой скучали. Не знаю, отчего так случилось — ведь шла подготовка к нашему любимому празднику, — но факт есть факт: словно серые сумерки, стоявшие за окном, затопили все вокруг, приглушили краски, скрыли рисовавшиеся воображением картины тихого блаженства, свободного от ежедневной школьной повинности, уроков и даже докучных домашних дел. Маринка то ли на что-то дулась, то-ли воображала себя взрослой: сидела и со скучающим видом разглядывала «Мурзилку». Казалось, еще чуть-чуть, и новогодние хлопоты станут нам просто в тягость. Вдруг раздался удивленный и радостный возглас бабушки. Мама и тетя Нина с готовностью подхватили его и загомонили, передавая друг другу что-то жесткое и выпуклое, как надкрылья жука, но размером с суповую тарелку, серое и рябое, как жеваный и слепленный слюной домик, который осы каждое лето стоили у нас под крышей. Заинтригованные, мы с Маринкой подбежали, и мама передала это нам. Оказалось, что это были две детские маски, вложенные друг в друга, обыкновенные картонные маски, которые, видимо, когда-то нам же и покупали, да забыли про них. Второпях, не увидев прорезей для глаз, мы сперва не узнали их, разглядывая с обратной стороны, но потом, убежав под одобрительные смешки с добычей к себе в комнату, мы рассмотрели находки уже внимательно: медведь и коза. Краска на их носах и щеках пообтерлась, лак пошел кракелюрами, а уши немного замялись вовнутрь, но мы были довольны. Да что там, мы были просто счастливы! Скуки не было уже и в помине, какой-то невероятный восторг охватил нас, едва мы приложили их к своим лицам: словно через них на нас сошло наконец благодатью праздничное настроение взрослых и усилилось до максимального своего состояния, до высших нот того самого, бывающего лишь раз в году предчувствия чего-то особенного, чего-то такого, чего не было и не могло быть в году прошедшем и, возможно, не будет даже в будущем, но теперь, когда в наших руках есть вот это, чье свойство новизны чудесным образом так легко переходит на нас, — возможно все! Мы ликовали.

Нацепив маски и спрятав тонкие резинки на затылке под волосами, мы выскочили из комнаты, и гулкие полутемные коридоры сами повлекли нас в неведомые дали. В бесконечность! В темный лес за окнами! По взмывающим под самый потолок скрипучим лестницам — в небеса, к иным планетам, к другим островам, к сокрррровищам! Рыча и бляя, носились мы друг за другом, и дом скрипел и покачивался под нашими ногами, словно пиратский корабль. Его пропахшие ворванью и варом внутренности ухали и стонали, словно за бортом бушевал ураган и волны высотой со стоэтажный дом с размаху бросались на утлую посудину, бросая ее и вертя, как щепку. Где-то там, в самой немыслимой глубине трюма, в самом дальнем-предальнем его отсеке томился привязанный на цепях дракон, и нашей задачей было пробраться в кают-компанию, где сейчас готовятся к исполнению какого-то ужасного обряда, и выкрасть ключ в виде стеклянной сосульки, чтобы освободить несчастное животное...

Я не помню, сколько длилось наше счастье, как долго мы были не собою и сколько времени взрослые притворялись, что не узнают нас, с испугом спрашивая друг у друга, кто это ворвался к ним в дом и куда делись их собственные дети, — мне трудно понять. И тогда было трудно, и сейчас: сколько же времени наш привычный мир был вытеснен из течения жизни, сколько длилось наше путешествие, полное приключений

и опасностей, среди подвалов сказочного замка, на валком, пахнущем лыжной мазью и хвоей корабле, среди беспредельности океана, в джунглях далекой планеты. Какая-то неведомая мощная сила играла нами, помыкала, заставляла преследовать друг друга и бежать, бежать, бежать, даже тогда, когда не хватало уже дыхания, когда ноги отказывались нас слушаться и пот грязноватыми ручейками обильно потек из-под масок. Однако постепенно что-то вроде истощения стало овладевать нами, словно задышливая усталость все чаще ловила нас своей сильной рукой, сжимая грудь за развевающимися от быстрого бега портьерами, за откинутыми дверцами шифоньеров, за высющимися спинками сумрачных кресел, и пригвождала к полу так, что невозможно было уже сдвинуться с места, пробежать еще пару шагов, даже просто пошевелиться — лишь постояв некоторое время и переведя дух, оглядевшись и обратным усилием воображения вернув себя в привычную обстановку, мы могли сделать несколько шагов по направлению к крану, чтобы набрать в кружку теплой солоноватой воды — напиток мелкими и частыми глотками, и тогда, остановившись и запрокинув голову, наблюдая боковым зрением разведчика, мы могли заметить, как новые пространства слева и справа торопливо задерживаются привычным рисунком обоев, словно бы в нашем клубе перед показом фильма наползает знакомое всем полотно, и казалось, что само время, приотставшее за время игры, сейчас нагоняет нас. Все чаще нам хотелось присесть — чтобы поправить ремешок на сандалиях, подтянуть сползшее трико, подровнять маску, откинуть с горячего лба прилипшую прядь волос. Мы устали. Мы исчерпали свою радость до дна, мы насладились новизной мира и жизнью в новых обличьях полностью, мы выпили ее до капли, и она вышла через поры, раскрывшиеся от охватившего нас жара, наружу незаметно и безболезненно. Именно так, мне кажется, и оставляет человека счастье, когда он устает от него. Оставляет, чтобы иметь возможность вернуться вновь.

Мы решили снять маски. И тут случилось ужасное: завязки Маринкиной маски оборвались. Я видел, как ее пальцы сжимают бессильно повисшие резинки, как глаза ее, озорно и ярко блестящие в круглых прорезях маски, вдруг заблестели еще ярче, невероятно ярко — так, словно их изнутри осветил какой-то особенный источник света, и слезы, крупные и обильные, подступили и хлынули стремительно и неудержимо. Искаженный прессованным картоном оглушительный рев — внезапный, непрерывающийся — разорвал тишину, в которой только что она безуспешно пыталась сдернуть с себя ненавистную личину. На крик прибежала тетя Нина, и, сразу поняв, в чем дело, спасла мою сестру: вернула ей человеческое обличье, стянув с нее маску через верх, как снимают глухие вязаные шапки, и, аккуратно распутав застрявшие в остатках резинки волосы, прижала ее к своему необъятному мягкому животу. Но Маринка, умолкнув так же внезапно, как и заревела, вырвалась и, отбежав в угол комнаты, уселась, всхлипывая, на коленки, спиной ко всем и спрятав покрасневшее лицо в ладонях. Тетя Нина, хмыкнув, повернулась и направилась обратно к елке, в пути своем громкогласно повествуя невидимым еще слушателям историю драмы, хохотами и хохотками начиная подсвечивать достраиваемую на ходу сцену, а я так и остался стоять, не зная, что делать. Я чувствовал к случившемуся какую-то свою причастность, но не понимал, в чем она заключается и в чем ей следует выразиться дальше — в форме покровительства или в форме покаяния: ведь Маринка продолжала всхлипывать, ее острые лопатки подрагивали, выпирая из-под красной материи платья, а маленькие пяточки в бежевых носочках, вдруг удивительно округлившись и похожие на мячики, торчали так жалко и так беспомощно, что хотелось подойти к ним, склониться, надавить...